# Севастополь

***Я в этом городе сидел в тюрьме.
 Мой каземат — четыре на три. Все же
 Мне сквозь решетку было слышно море,
 И я был весел.
 Ежедневно в полдень
 Над городом салютовала пушка.
 Я с самого утра, едва проснувшись,
 Уже готовился к ее удару
 И так был рад, как будто мне дарили
 Басовые часы.
 Когда начальник,
 Не столько врангелевский,
 сколько царский,
 Пехотный подполковник Иванов,
 Решил меня побаловать книжонкой,
 И мне, влюбленному в туманы Блока,
 Прислали… книгу телефонов — я
 Нисколько не обиделся. Напротив!
 С веселым видом я читал: «Собакин»,
 «Собакин-Собаковский»,
 «Собачевский»,
 «Собашников»,
 И попросту «Собака» —
 И был я счастлив девятнадцать дней,

Потом я вышел и увидел пляж,
 И вдалеке трехъярусную шхуну,
 И тузика за ней.
 Мое веселье
 Ничуть не проходило. Я подумал,
 Что, если эта штука бросит якорь,
 Я вплавь до капитана доберусь
 И поплыву тогда в Константинополь
 Или куда-нибудь еще… Но шхуна
 Растаяла в морской голубизне.

Но все равно я был блаженно ясен:
 Ведь не оплакивать же в самом деле
 Мелькнувшей радости! И то уж благо,
 Что я был рад. А если оказалось,
 Что нет для этого причин, тем лучше:
 Выходит, радость мне досталась даром.

Вот так слонялся я походкой брига
 По Графской пристани, и мимо бронзы
 Нахимову, и мимо панорамы
 Одиннадцатимесячного боя,
 И мимо домика, где на окне
 Сидел большеголовый, коренастый
 Домашний ворон с синими глазами.

Да, я был счастлив! Ну, конечно, счастлив.
 Безумно счастлив! Девятнадцать лет —
 И ни копейки. У меня тогда
 Была одна улыбка. Все богатство.

Вам нравятся ли девушки с загаром
 Темнее их оранжевых волос?
 С глазами, где одни морские дали?
 С плечами шире бедер, а? К тому же
 Чуть-чуть по-детски вздернутая губка?
 Одна такая шла ко мне навстречу…
 То есть не то чтобы ко мне. Но шла.

Как бьется сердце… Вот она проходит.
 Нет, этого нельзя и допустить,
 Чтобы она исчезла…
 — Виноват!—
 Она остановилась:
 — Да?—
 Глядит.
 Скорей бы что-нибудь придумать.
 Ждет.
 Ах, черт возьми! Но что же ей сказать?
 — Я… Видите ли… Я… Вы извините…

И вдруг она взглянула на меня
 С каким-то очень теплым выраженьем
 И, сунув руку в розовый кармашек
 На белом поле (это было модно),
 Протягивает мне «керенку». Вот как?!
 Она меня за нищего… Хорош!
 Я побежал за ней:
 — Остановитесь!
 Ей-богу, я не это… Как вы смели?
 Возьмите, умоляю вас — возьмите!
 Вы просто мне понравились, и я…

И вдруг я зарыдал. Я сразу понял,
 Что все мое тюремное веселье
 Пыталось удержать мой ужас. Ах!
 Зачем я это делал? Много легче
 Отдаться чувству. Пушечный салют…
 И эта книга… книга телефонов.

А девушка берет меня за локоть
 И, наступая на зевак, уводит
 Куда-то в подворотню. Две руки
 Легли на мои плечи.
 — Что вы, милый!
 Я не хотела вас обидеть, милый.
 Ну, перестаньте, милый, перестаньте…

Она шептала и дышала часто,
 Должно быть, опьяняясь полумраком,
 И самым шепотом, и самым словом,
 Таким обворожительным, прелестным,
 Чарующим, которое, быть может,
 Ей говорить еще не приходилось,
 Сладчайшим соловьиным словом «милый».

Я в этом городе сидел в тюрьме.
 Мне было девятнадцать!
 А сегодня
 Меж черных трупов я шагаю снова
 Дорогой Балаклава — Севастополь,
 Где наша кавдивизия прошла.

На этом пустыре была тюрьма,
 Так. От нее направо.
 Я иду
 К нагорной уличке, как будто кто-то
 Приказывает мне идти. Зачем?
 Развалины… Воронки… Пепелища…

И вдруг среди пожарища седого —
 Какие-то железные ворота,
 Ведущие в пустоты синевы.
 Я сразу их узнал… Да, да! Они!

И тут я почему-то оглянулся,
 Как это иногда бывает с нами,
 Когда мы ощущаем чей-то взгляд:
 Через дорогу, в комнатке, проросшей
 Сиренью, лопухами и пыреем,
 В оконной раме, выброшенной взрывом,
 Все тот же домовитый, головастый
 Столетний ворон с синими глазами.

Ах, что такое лирика!
 Для мира
 Непобедимый город Севастополь —
 История. Музейное хозяйство.
 Энциклопедия имен и дат.
 Но для меня… Для сердца моего…
 Для всей моей души… Нет, я не мог бы
 Спокойно жить, когда бы этот город
 Остался у врага.
 Нигде на свете
 Я не увижу улички вот этой,
 С ее уклоном от небес к воде,
 От голубого к синему — кривой,
 Подвыпившей какой-то, колченогой,
 Где я рыдал когда-то, упиваясь
 Неудержимым шепотом любви…
 Вот этой улички!
 И тут я понял,
 Что лирика и родина — одно.
 Что родина ведь это тоже книга,
 Которую мы пишем для себя
 Заветным перышком воспоминаний,
 Вычеркивая прозу и длинноты
 И оставляя солнце и любовь.
 Ты помнишь, ворон, девушку мою?
 Как я сейчас хотел бы разрыдаться!
 Но это больше невозможно. Стар.***